

## Филологические воспоминания

### 1. О Софии Викторовне Поляковой

Летом 1962 г. я поступил на романское отделение Петербургского (тогда Ленинградского) университета. В сентябре, когда должны были начаться занятия, студентов, как тогда водилось, посылали «на картошку» — на целый месяц. Узнав, что меня отправляют в колхоз, расположенный неподалеку от дачного местечка Соснова, Гена Шмаков, мой старший приятель, только что окончивший тогда классическое отделение того же университета, сказал, что по воскресеньям он ездит в Сосново к друзьям на дачу и что могу туда приехать и я.

Условия в колхозе были чудовищные — холодно, голодно и очень грязно. Сентябрь выдался мокрый, и когда переставал дождь, мы, копошась в жидкой грязи, в которую превратились поля, выискивали редкие корнеплоды. В первое же воскресенье я отправился в Сосново и по указанному адресу нашел дом, принадлежавший, как оказалось, гениному университетскому преподавателю — античнице и византистке Софии Викторовне Поляковой. Визит начался, как в русской сказке, с долгожданной ванны, которую я смог, наконец, там принять — С. В. потом всю жизнь вспоминала, что на запястьях у меня проходила четкая граница, ниже которой шла кожа, потемневшая от грязи. После ванны началось застолье, во время которого я обратил внимание на причудливый язык, на котором изъяснялись сама С. В., Гена и окружающие, — о нем я расскажу подробнее немного позже. По-настоящему же интересны были разговоры, которые велись за столом — можно сказать, что в мировой культуре С. В. и ее гости чувствовала себя дома.

Я стал приезжать в Сосново каждое воскресенье, а с началом занятий стал посещать С. В. и в городе. Вскоре мне страстно захотелось учиться у С. В. древнегреческому языку, несмотря на то что Гена предупредил меня, что в течение первого года заниматься придется по шесть часов в день. К тому же меня очень разочаровали занятия на романском отделении, на выбор которого повлияли две вещи: это был, во-первых, приезжавший в Россию театр Мари Белль, последней великой трагической актрисы Франции, из чьих уст я слушал стихи Расина и Корнеля, забыв все на свете; во-вторых, Гена Шмаков успел приобщить меня

Медленно вышла из комнаты женщина,  
Комнаты жаркой и душной.  
Словно из крыльев стрекозых, трепещущих,  
Зонт ее легкий, воздушный.  
Время окрасило голову мудрую,  
Как серебром, сединою.  
Но и сегодня в глазах ее музыка  
И вдохновенье былое.  
Вновь по арыку вода незатейливо  
К роще струится зеленой.  
Слышится цокот копыт надоедливый,  
Храп лошадей изнуренных.  
А на дорогах наречий сплетение,  
Столпотворенье людское,  
Пестрых, гудящих потоков течение,  
Трудное бденье ночное.  
Информбюро тяжелы сообщения,  
В яростных сполохах небо.  
Все на дорогах: и шум, и движение,  
Здесь не хватает лишь хлеба.  
Гулких солдатских сапог громыханье  
Бьет, словно градом свинцовым  
По сердцу матери... О, испытания  
Этой години суровой.  
Женщина молча идет одинокая,  
Точно царица ступая.  
Следом за ней прохожу по дороге я, —  
Молча за ней наблюдаю.

(Айбек. Далекая звезда моя: стихи и поэмы. Ташкент, 1974. С. 147–148;  
перевод А. Глезера).

к новой французской поэзии, которой он буквально бредил. Между тем занятия на первом курсе ни с ложноклассическими шаялами, ни с поэзией ничего общего не имели — сводились они главным образом к унылому натаскиванию во французском языке, который я уже знал — А. И. Доватур справедливо замечал, что в Университете сразу начинают получать высшее образование только студенты-русисты.

Выслушав мою просьбу — обучаться у нее греческому, С. В. распорядилась в своей экстравагантной манере, присоединив меня к начинающей группе историков, состоявшей всего из двух студентов: Гелиана Прохорова, впоследствии исследователя древнерусской литературы, и девушки, которой греческий никак не давался, и когда она вскоре к собственному и всеобщему удовлетворению перешла на англистику, мы с Гелианом остались вдвоем (он, вероятно, предпочел бы полностью иметь С. В. в своем распоряжении, на что у него были все права). Разрешения включить меня в эту группу С. В. ни у кого не спрашивала, а я тем более.

Занятия начинались с поисков помещения — на филфаке наши занятия не были предусмотрены, а перебираться всего на два часа на Исторический факультет было некогда. Мы обходили длинные коридоры, постоянно натываясь то на «увечных» (преподаватели разных форм марксизма были сплошь калеками), то на невозможного профессора советской литературы, которого С. В. стала по этой причине называть «мой друг Тотубалин», потом обходили «катакомбы» на факультетском дворе (недавно я обнаружил, что это шутовое название стало официальным и увековечено специальной вывеской). Наконец, мы находили свободную аудиторию. С. В. закуривала «Беломор» (разрешалось курить и нам), и мы принимались за чтение заданного отрывка и упражнений, после чего С. В. давала нам очередной грамматический материал и очередные задания. Учебников она не признавала, и мы переписывали парадигмы, которые она писала своим круглым почерком на доске, давая попутно пояснения из области исторической грамматики, что было, несомненно, полезнее, чем если бы мы их выучивали по учебнику Соболевского, в котором начинающим ориентироваться трудно. (С той же системой изустного преподавания грамматики, имеющего традиционные корни, я столкнулся впоследствии на кафедре семитологии Восточного факультета, где факультативно учился во время аспирантуры, потом — начав изучать с одним очень необычным преподавателем санскрит). И тексты — отрывки из авторов, искусно увязанные с грамматическими сюжетами, и упражнения, когда-то давно были переписаны самой С. В. от руки — ее любимыми фиолетовыми чернилами

на листках линованной тетрадной бумаги. Это придавало занятиям дополнительную прелесть, но создавало известные трудности, так как мы с Гелианом должны были, выполнив задание (что требовало немало времени), успеть их друг другу передать, — множительная техника в советские годы хотя и существовала, но строго контролировалась. О том, чтобы потерять те листочки, нельзя было и думать, и мы привыкли к ним относиться чуть ли не как к папирусам. Все это, а в особенности несравненный юмор С. В., даже пропедевтический курс греческой грамматики превращали в увлекательное занятие; при этом она была исключительно строга, а о списывании или каких-нибудь шпаргалках на контрольных работах не могло быть и речи. Экзамены я сдавал на классическом отделении, но окончательно туда переходить мне не советовал В. М. Жирмунский, говоря, что после ухода в Институт языкознания И. М. Тронского крупных ученых там не осталось. Но не было их и на романском отделении, где я продолжал учиться (хотя превосходные педагоги были и там, и там). Подлинной же причиной, почему Виктор Максимович не хотел, чтобы я с романского отделения уходил на классическое, была та, что он уже тогда замысливал сделать из меня провансалиста с целью возродить эту область, угасшую с уходом В. Ф. Шишмарева и А. А. Смирнова.

С. В. учила нас филологическому подходу к тексту, который начинается с поиска предиката и грамматического анализа фразы, и категорически запрещала переводить текст по-любительски — «слово за слово». С Геной мы начали обмениваться шутовскими письмами на греческом языке, при этом я пользовался составленным в прошлом веке русско-древнегреческим словарем Синайского с выбором слов настолько диким, что томик этот мог служить патентованным средством от плохого настроения — достаточно было его открыть на любой странице, чтобы обеспечить себе сеанс гомерического смеха (помню оттуда слово «взлизы» — зачесы редких волос на голове лысеющего человека, для передачи которого автор создал причудливый греческий неологизм).

На следующий год, поскольку Гелиану требовалось прочитать для его дипломной работы трехтомную «Историю» императора Иоанна Кантакузена (с чьими потомками я спустя несколько десятилетий познакомился в Париже), мы вместо ксенофонта «Анабасиса», к которому плавно подводил пропедевтический курс, погрузились в дебри и византийских дворцовых интриг, и труднейшего текста. Кантакузена мы разгрызали, кажется, весь следующий год; одновременно, чтобы читать греческих авторов, я ходил на занятия классического отделения,

где занимался с по-своему замечательными филологами — Доватуром, Боровским, Зайцевым. Закончил я свое классическое образование уже в бытность в аспирантуре, у И. М. Тронского: здесь чтение текстов начиналось с этимологии каждого слова, а заканчивалось разбором историко-литературных, мифологических и культурно-исторических моментов.

Пока я учился у С. В., она иногда проводила занятия у себя дома на Казанской улице (тогда — улица Плеханова), в квартире, которую делила с И. В. Феленковской, филологом-классиком по образованию, преподававшей, однако, немецкий язык, которым тут же начала со мной заниматься и она. Кроме дам, в той же квартире жил человек посторонний — какой-то советский писатель, заочно именуемый «Бальзак». И у С. В., и у Ирины Владимировны были собаки — у первой два сеттера (одного из них звали странным именем Челевик — ласкательное имя, опять-таки в манере С. В., было Сялик), у второй — две колли, которых С. В. немного презирала, говоря, что в их вытянутых черепах помещается мало мозгов. Годами, приходя в этот дом (а потом в квартиру неподалеку от Сенной площади, куда все переехали с Казанской) — в гости, на новогодние праздники или просто так, первое, что я слышал за дверью, нажав на кнопку звонка, был лай собак, потом голос «бабы Сони» (или просто «Бабы», как она разрешила себя называть), их урезонивающий: «Уймись, идиоты несчастные!». Дверь распахивалась, собаки кидались целоваться, С. В. их оттаскивала, и тогда уже можно было здороваться и нам. Когда приходили «чужие», собак запирали в одной из комнат, а если те оттуда вырывались, С. В. кричала громовым голосом: «Кто выпустил этих евреев из плена?!» В Соснове знаменитый Челевик однажды потерялся, это было большое горе, но поразительным образом проделав под сотню километров, он сам разыскал дорогу в город и спустя несколько месяцев появился на Казанской. После смерти обоих сеттеров С. В. породистых собак уже не держала, но сжалившись, приняла в дом бездомную собачку, по этой причине получившую имя «Фортуна», сокращенно «Фарта». В доме также жила кошка Фрося, а одно время С. В. дружила с волком, потом с росомахой, которых навещала в зоологическом саду. Что же касается «Бальзака», от него удалось избавиться, совершив квартирный обмен, в результате которого в доме поселились близкие люди — ныне здравствующая дальняя кузина С. В. Лилия Леонидовна, а в комнате выехавшей Ирины Владимировны стал жить наш общий друг, замечательный знаток французской литературы и мой будущий соавтор по переводам трубадуров Надежда Януарьевна Рыкова. В молодости Н. Я переболела тем, что

сегодня называют вульгарным социологизмом, от которого радикально излечилась в казахстанской ссылке, однако сохранила острый интерес к политике и, как и Лилия, внимательно следила за текущими событиями — обе видели их в самом мрачном свете (Н. Я., в частности, принадлежит афоризм: «Привыкнуть можно ко всему, кроме клопов и большевиков»). Поскольку же я, напротив, газет никогда не читал, наши встречи обычно начинались с «политинформации» (забавно, что когда я в перестроечные годы регулярно сотрудничал с Би-би-си, главным источником «политпросвета» для меня служили эти кухонные посиделки). Надежда Януарьевна имела склонность вести нескончаемые споры по таким актуальным проблемам современности, как, например, крестьянский вопрос или судьба проливов Босфора и Дарданелл. Вот типичная сцена тех времен:

Н. Я., жестикулируя и разглагольствуя пронзительным голосом, доказывает свою правоту. С. В., не без язвительности, ей возражает. Н. Я еще больше расходится, хватая толстую книгу и, ударяя ею о край стола в такт речи, кричит: «Никогда не надо ничёго обострять!» С. В., широким жестом словно приглашая весь мир в свидетели: «Но Вы же, Надя, первая и обостряете!»

Забавный случай, связанный с обеими дамами, произошел, кажется, в 1964 г., вскоре после скандала на выставке в московском Манеже, куда пожаловал Никита Хрущёв и, пораженный скульптурами Эрнста Неизвестного, обозвал его «пидарастом», что было опубликовано «в независимой, но близкой к коммунистам» газете «Правда». Именно в те дни С. В. читала на секции переводчиков в Союзе писателей свои тогда еще не изданные переводы «Пёстрых рассказов» Элиана, где, в частности, говорится о некоем Мегабизе, который, посетив художника Зевксиса, «похвалил посредственные картины и не одобрил выполненных с тщанием», и которого «подмастерья, растиравшие Зевксису краски, подняли за это насмех; Зевксис же сказал: “Когда ты молчишь, Мегабиз, эти юноши восхищаются тобою, так как видят твою богатую одежду и слуг, а когда пускаешься в рассуждения об искусстве, презирают тебя. Если хочешь сохранить к себе уважение, сдерживай язык и не суди о том, к чему не имеешь касательства”». Едва С. В. закончила чтение этого отрывка, который все с большим удовольствием молча соотнесли с недавним скандалом, как в наступившей тишине раздался тот же пронзительный голос Надежды Януарьевны: «Очень актуально!» Надо заметить, что по тем временам достаточно было бы чьего-то доноса, и книга С. В. не увидела бы света. К счастью, этого не произошло, и в последующие годы С. В. издала еще несколько «Литературных

памятников». Настоящий же скандал связан был с ее переводом памятника, уклончиво озаглавленного ею «Византийские легенды». С опозданием — книга уже вышла и была мгновенно распродана — «легенды» были разоблачены как жития византийских святых, каковыми и являлись, и могли быть переизданы уже только в эпоху перестройки. После этой истории С. В. долго в «Памятниках» не печатали — она говорила, что ее основным жанром стал жанр заявки. С. В. переводила позднеантичные и византийские романы и сатирические диалоги, а также выпустила в своем переводе важнейший памятник латинского средневековья — «Деяния римлян». А недавно ученица С. В. — Г. Е. Лебедева выпустила мемориальное переиздание ее перевода «Повести об Исминии и Исмине» византийского писателя Евмафия Макремволита; перевод сопровождается исследованием С. В. и воспоминаниями о ней нескольких друзей и коллег.

Особую нетерпимость С. В. проявляла к любому культу, неумеренному восторгу, к наукообразию и напыщенности и т. п. — справедливости ради надо сказать, что иногда она подводила под эту рубрику и чье-либо подлинное восхищение кем-то или чем-то, ею не разделяемое. Как-то раз мне попала у букиниста инкунабула Гомера (тогда такие книги можно было купить за бесценок), и я, соорудив витиеватую греческую дедикацию, подарил ее С. В. Подарок у нее энтузиазма не вызвал — в дедикации она поправила ошибку и заметила, что вообще-то современные издания лучше. Не вызвали у нее восторга и гастроли афинского театра с какой-то знаменитой актрисой, представлявшего древнегреческие трагедии на новогреческом языке — особенно ее раздражало щелевое произношение тэты, и она с отвращением повторяла: *th, th...* Оба — она и Гена — очень смеялись и по поводу письма, которое я им обоим написал после первого года наших занятий, когда совершал плавание по Северному морскому пути, — письмо это я по наивности сопроводил эпиграфом из Горация: *O navis, referent / in mari te novi / fluctus...*, что они сочли (справедливо) достаточно комичным. Что касается Гены, я был впоследствии отомщен. Годы спустя, когда он из эмиграции послал С. В. свою фотографию в нью-йоркской квартире с припиской: «на камине — рисунок Бенуа», С. В., сочтя это моветоном, незамедлительно послала мне свою, приписав: «В кармане — сто рублей».

Точно так же посмеивалась С. В. над Зайцевым, именовавшим университетский кабинет античной филологии «священным» (странным образом не замечая иронии, вероятно, слишком прямолинейной, которую Александр Иосифович вкладывал в эти слова). Надо признать, что с университетскими коллегами-классиками отношения у С. В. были

натянутые — не касаясь уже упоминавшихся прекрасных филологов, среди коллег были и люди совсем другого толка, в том числе дама, которой, по ее рассказам, И. М. Тронский с натяжкой поставил на выпускном экзамене тройку, заявив, — только потому, что ей, конечно, никогда никому не придется преподавать древние языки, однако будучи взята на кафедру «по партийной линии», она всю жизнь занималась именно этим. О подобных «маловысококвалифицированных» коллегах С. В. с характерным гиперболизмом утверждала, что они безграмотны настолько, что даже в том единственном случае, когда им приходится что-то писать, а именно, расписываться в ведомостях о получении зарплаты — они и этого сделать не в состоянии и просто ставят крест. В советской университетской практике нормой была профанация науки, когда преподаватели, не имеющие к науке никакого отношения, из карьерных соображений в массовом порядке защищали бессмысленные диссертации младограмматического толка о каких-то «функциональных стилях» или, как называл подобного рода работы Жирмунский, — «О конструкциях типа *mit c дательным надежом*» (предлог *mit* только с дательным и употребляется). От кафедры С. В. все более отдалялась и, будучи специалистом по греческому средневековью, с годами сосредоточила преподавание на Историческом факультете, где обучала студентов-византистов и где я у нее и учился.

С. В. забавно рассказывала историю о московской коллеге, которую уличила в плагиате — та не нашла ничего лучшего, как начать ее самое обвинять в идеологических ошибках, а именно, ни в чем ином, как в кантианстве, и никак не могла понять ответных доводов СВ, что зловерные эти ошибки перешли, таким образом, и в плагиат. Однако другой плагиат, более зловещий, был, по ее рассказам, совершен одним из университетских преподавателей, которому удалось получить в спецхране рукопись репрессированного С. Я. Лурье. Безмерным уважением С. В. пользовался Андрей Николаевич Егунов — античник и замечательный поэт, много лет проведший в лагерях, и мы вместе с нею ездили в конец Васильевского острова к нему в гости. Мы часто повторяли его стихи (особенно, третью строку):

Нанюхался я роз российских  
и запахов иных не замечаю.  
Я не хочу ни кофию, ни чаю.  
Тот, кто нанюхался российских роз —  
тому весь мир ответ, а не вопрос.

С. В. великолепно знала русскую поэзию — она подготовила издание Софии Парнок, писала о ней, о Цветаевой, о Мандельштаме, об Олей-



никове (нам принадлежит и одна совместная работа — о «Поэтике» Дмитрия Жуковского, мужа Аделаиды Герцык, рукопись которой я нашел у ее сына на Кавказе, а С. В. дружила с этой семьей). С. В. не принимала, однако, ни позднейших стихов Ахматовой, ни поэзии Бродского, их ценителей обвиняя, опять-таки, в «культе личности» (тем самым в какой-то мере предвосхищая пафос А. Жолковского). Написанные ею небольшие воспоминания о довоенных встречах с Ахматовой тоже несколько двойственны, — как и Лидия Чуковская, она не улавливала иронии Н. Н. Пунина, который, побывав в ВОКСе, мог сказать, обращаясь к Ахматовой: «Мы слышали ВОКС рорупі, а теперь послушаем vox dei». Сочинялось бесконечное пародийное продолжение «Поэме без героя» — помню оттуда строки о «госте из будущего»:

Он принес мне Махабхарату  
И заставил ее прочесть.

Любимым поэтом С. В. был, кажется, Пастернак, и во время наших застолий она нередко читала его стихи:

А в наши дни и воздух пахнет смертью,  
Открыть окно — что жилы отворить.

Эти строки, так же как и ахматовские (о «двадцать четвертой драме Шекспира»):

Только не эту, не эту, не эту  
Эту уже мы не в силах читать

— проецировались ею, конечно, на годы террора, на которые пришла ее молодость. Она забавно показывала, как Пастернак, с которым, когда его двоюродная сестра О. М. Фрейденберг поручила ей что-то передать ему в Москве, она встретила в издательстве, сначала долго повторял на все лады: «Ольга Михална? Кто это — Ольга Михална? Я не знаю, кто такая Ольга Михална!» — она видела в этом (кажется, напрасно) нарочитость и наигранность. О самой же Фрейденберг, с которой в молодости была близка, она рассказывала мало.

С любимыми учениками отношения у С. В. сохранялись всю жизнь, Гену же любила как сына. Его эмиграция в Америку в середине 70-х гг. была для нее тяжким ударом — тогда при подобных отъездах прощались навсегда. Провожая его морозной ветреной ночью на «Стрелу» (он улетал из Москвы), мы чувствовали себя, как на похоронах, и он действительно умер в Нью-Йорке, не дожив до пятидесяти лет — С. В. тогда повторяла: «уехал за смертью...». Нас же это горе сблизило еще больше.

В 1983 г., на закате советской власти, я был арестован по обвинению «в антисоветской агитации и пропаганде в форме хранения и распространения книг, изданных на Западе». По моим записным книжкам, которые, к несчастью, попали при обыске в руки следствия, было допрошено свыше сотни людей, и каждому из них, конечно, говорилось, что выдал его я. Разумеется, были допрошены и С. В., и Надежда Януарьевна, у которых, как у близких друзей, был устроен обыск. Ранее, при обыске у меня дома, была изъята уже готовая к публикации рукопись «Жизнеописаний трубадуров» — литературного памятника, который мы подготавливали вместе с Н. Я., и мне удалось убедить следователя дать мне рукопись в камеру для доработки, а потом вернуть ее Н. Я. как моему соавтору (рукопись выглядела очень официально, к ней были приложены рецензии, а на титульном листе стояла печать издательства «Наука»). Я, конечно, не мог не воспользоваться неожиданной возможностью послать на волю письмо, которое написал по-латыни, замаскировав его под фрагмент книги, однако Н. Я., прекрасно понимая, что об издании при этих обстоятельствах не может быть и речи, в рукопись даже не заглянула. Чувствуя по всему, что письмо не прочитано, я, когда появился адвокат Хейфец (о котором нельзя даже было сказать «адвокат — нанятая совесть», так как совести он не имел), наивно подумал, что смогу с ним передать новое письмо, в котором спрашивал о судьбе того, первого, и, сунув его в ботинок, бодро понес на свидание. Письмо было вынуто из меня раньше, чем я был к адвокату доставлен, а у дам был устроен новый обыск. Первое письмо из рукописи было изъято, и его отдали для перевода все на ту же университетскую кафедру классической филологии. Перевела его небезызвестная Чекалова (из того самого отряда «маловысококвалифицированных» коллег) — причем так, как переводят школьники или начинающие студенты, со сказуемым на последнем месте, то есть именно «слово за слово», как нам С. В. переводить запрещала; применительно же к письму *ex vinculis* это производило особенно комическое впечатление. Самое же забавное, что знакомясь с делом, я нашел в нем справку, что за свой труд она получила тридцать рублей — тридцать сребренников... Среди немногих, кому удалось попасть в зал суда, набитый кэжэбэшной нежитью, мне было отградно увидеть рядом с моими родителями и Лилию Леонидовну, которая, в опровержение слухов, распространяемым КГБ, смогла не только подтвердить *urbi et orbi*, что я не признал себя виновным (за что получил максимальный срок), но и цитировать слова прокурора, которая возмущалась тем, что я не назвал в процессе следствия ни одного имени — по-гречески ἔδειξα οὐδένα, по-римски *neminem nominavi*.

Теперь я хотел бы подробнее сказать о том странном языке, на котором изъяснялись в кругу С. В. и который можно определить как своего рода «прециозный идиолект». Формировался он под влиянием ярких личностей, обладавших колоссальным культурным багажом — филологов, преимущественно античников, владевших многими европейскими языками и прекрасно знавших русскую и европейскую литературу. Наряду с богатством культурных источников, особую остроту их речевой манере придавала ее остраненность: речь не только носила шутливый характер, но юмор был направлен и на нее самое.

Неисчерпаемым источником макаронического словотворчества служило создание русских слов по моделям других языков: например, «спички» с помощью французского суффикса превращались в *спинеты*, французскую филологию называли *французения*, мои провансальские штудии — *провансалузия*. Аффиксы использовались, конечно, не только иноязычные. Обратный случай — когда иноязычные корни оформлялись при помощи русских суффиксов — говорилось: *Бонжурчик* или: «Хочется почитать что-нибудь *суггестивненькое*». Немецкий корень, с добавлением русских суффиксов, давал слово «Альтовичка» — пренебрежительное прозвище, данное даме, пережившей свой век. Игра с суффиксами, как видим, отличалась известной причудливостью. Собрание сочинений Хармса, которое я готовил, называлось *Хармсник* (вспоминается «кошка-текстоложка» формалистов — по рассказу В. Б. Шкловского о висевших над письменным столом Б. М. Эйхенбаума часах-ходиках с головой кошки, поводившей глазами в такт движению маятника). Видимо, не без оглядки на собственное языковое творчество смаковались специфические безаффиксные спортивные термины — «жим», «вис», «в упор-присев». Особой же популярностью пользовался суффикс *-ча* — так, к матери одной из дам обращались *мамча*.

Слова, заимствовавшиеся, в частности, из немецкого языка, подвергались игровому переосмыслению. Фраза «Она уехала в Landbesitz делать Geschreib» означала: «Она уехала на дачу, чтобы там работать (т. е. писать)» — скромной даче присваивалось немецкое обозначение «имения», тогда как вторая часть фразы отражала присущее всему кругу стойкое отвращение к наукообразию, о чем говорилось выше. Синонимом «делать Geschreib» было «делать нау́к» (с ударением на а) — здесь обыгрывалось созвучие русского слова «наука» с именем немецкого филолога-классика Августа Наука (кстати, преподававшего в Петербурге). Порицание же выражалось калькированной с русского (по-немецки не употребительной) фразой «Das ist nicht gut», которой

пользовался один из университетских педагогов С. В. — филолог-античник И. И. Толстой.

Так же остраненно-шутливо обыгрывались идишизмы (употреблявшиеся — стоит ли говорить — без малейшей антисемитской интенции): так, «моя собака» могло прозвучать в форме «моя собакэ», «курочка» — «курочкэ». Идишизмы могли звучать во взаимодействии с немецкой речью — так «zigüsk» произносилось как «цурик» в воспоминании о лекторе по марксизму-ленинизму, который, выдавая этим свое местечковое происхождение, именно в такой форме цитировал формулу Отто Либмана «Zigüsk zu Kant» (прекрасный пример того, какую большую информацию могут нести минимальные фонологические единицы). С. В. упоминала виденный в детстве спектакль, где актриса с еврейским акцентом распевала: «Царэвич, бойся фэи злой, фэи злой, фэи злой», а советуя держаться от чего-то подальше, повторяла — «фурт авег фун ди хулиганес». Использовался и одесско-еврейский юмор, так, про тупой нож говорилось, что таким ножом — только попа обрезать. Можно было и услышать, как к собакам обращаются по-древнегречески: «Эстин хопос!». Между прочим, в знак презрения к Софоклу, противопоставлявшемуся гениальному Эсхилу, первый из них именовался, сохраняя греческую форму имени, «шарманка Софоклэс» (при этом с ударением на последнем слоге!). По-видимому, этим людям, как филологам, доставляла особое удовольствие вопиющая нерегулярность чередований (либо создание собственного идиолектного чередования), как в случае замены имени всеми любимого Пруста на *Прунь* или обыкновенной формы слова *мальчик* на *мальник* (вспомним *спички* / *спинеты*); возможно, под влиянием чередований типа Маша / Маня, по крайней мере, жившая в клетке белая ручная крыса послучила имя Крыня). Забавно, что подобный же переход аффрикаты в *n* произошел, когда после «разоблачения» и изгнания Льва Троцкого И. М. Тронский вынужден был видоизменить свою фамилию, ставшую одиозной (кстати, рассказывалась история о студентках-античниках, еще не привыкших к этой модификации и громко обменивавшихся в трамвае впечатлениями «об интереснейших лекциях Троцкого»).

Своего рода шедевром прециозной модификации имен собственных стало именование моего тезки Михаила нелепейшей латинизированной, с русским притяжательным суффиксом (ср. выше — *Альтовичка*), формой *Майкловиус*, но образованной от *английского* варианта имени; к нему же иногда обращались, с нарочитым искажением английской фонетики, — *Майкель*, либо, италянизируя (и одновременно — французируя!) — *Мишелино*, либо, вульгаризируя — *Михря* и, конечно же, *Миная*!).

Звоня по телефону знакомой даме по имен *Эра*, к ней могли обратиться, обыгрывая имя врача, чье имя носит больница при Первом медицинском институте — *Эрисман*, на что та отвечала: Да, это он. Другие имена, по случайному совпадению слов, также италянизировались: переводчицу Нину Фарфель называли *Farfalla* (бабочка), Нину Берберову, обыгрывая имя кардинала Барберини — *Берберини*, и даже Шуру — *Шурелла*. А в имени Райсы ударение переходило на первый слог и отсекалось окончание: «Божественная Ра́ис!». Вообще, всевозможная, по преимуществу макароническая, деформация слов возводилась в некий принцип. Так, «кофе», через ступень «кофий», превращалось в *коштофей*, а уж если говорилось *кофе*, то пародировалось характерное просторечное произношение *кофэ*. Когда требовалось сказать «Сегодня холодно», говорилось: «Сегодня жуткий хлад и могилбоген», со славянизирующим неполногласием в слове *хлад* и последним словом, составленным из русского слова *могила* и немецкого *Regenbogen* — «радуга», причем *могила* играла, конечно, со словом *хлад*. Не говорилось «ехать в Москву», но — «в Московию». Одно время к именам почему-то добавлялось слово «убогий»: «Пришел Петр убогий». «Придти куда-либо напрасно» (например, в музей, когда он закрыт) обозначалось выражением «поцеловать ручку двери», комбинирующим «поцеловать ручку» и «ручка двери». Собственно мат избегался, но допускались гробианизмы, остраемые цитированием Аристофана, Плавта или Катулла, либо заменой, опять-таки, суффиксов, например на латинские («под зад пинаре»), либо эллиптическими цитатами (например, говорилось: «Ах, у дуба», но без продолжения).

Любопытно, что столь распространенное в других кругах пародирование советской лексики — назойливого атрибута власти, которую все дружно ненавидели, здесь принято не было (зато всячески поносились порождаемые ею уродства). Единственные запомнившиеся мне обыгрываемые советизмы — это «шатания в партии» применительно к размовке между друзьями и формула «от имени и по поручению», а членов партии величали, опять-таки, по-немецки — *Partei Genossen*. Советскую власть именовали, как и многие, Софьей Власьевной, а прилагательное «советский» заменяли на «совейский». Более специфично — партию величали «курией» (такой-то — «член курии»), а партсобрание, по первому стиху первого псалма — «советом нечестивых». Советский союз называли «одной отдельно взятой страной», внешний мир — загранзоной, а вместо «за границей» говорили «за бугром». Что же касается культурных аллюзий, — те черпались отовсюду. Вместо «туда» говорили, цитируя одновременно Гёте и Пастернака,

«dáhín, dáhín», но нарочно с ударением на первом слоге, спрашивая же, например, куда кто-либо направляется, говорили уже «wóhín, wóhín». Вместо «созвонимся» предпочитали сказать, обыгрывая название ключевского сборника, — «устроим сосен перезвон», а вместо «признать ошибку» — «осознать свою роковую неправоту». Переосмысленное гамлетовское «Умереть, уснуть» обозначало высокое качество чего-либо, а гамлетовское же (опосредованное через Цветаеву) «как сорок тысяч братьев» употреблялось по всякому поводу, став своего рода присказкой. Я не мог объяснить, что уезжаю в горы, не услышав в ответ гейневского *auf die Berge will ich steigen* (это лишь немногие примеры). Когда что-то запутывалось, говорилось «все перепуталось, и сладко повторять...» (Мандельштам, вообще был в чести — в то время как раз стали циркулировать «Воронежские тетради»).

Или помню Гену Шмакова, щедро заправляющего приготовленное им блюдо майонезом, повторяя переименованный верленовский стих: *De la mayonnaise avant toute chose* (последний слог слова *mayonnaise* — нараспев, с возможно более передним произношением гласного; он же, невероятно растягивая последний гласный звук, докладывал: «Баба сделала frisure» (читай — побывала у парикмахера) ...

Льщу себя надеждой, что эти краткие воспоминания о формах языкового выражения «маленького клана», душой которого была София Викторовна, представляют некоторый лингво-социо-культурный интерес; они могли бы привлечь внимание чувствительных к подобным феноменам художников — Мольера, Гоголя или Пруста.

Заканчивая эти заметки, я вспоминаю годы дружбы с «бабой Соной» — от первой встречи в Соснове, наших занятий и бесчисленных вечеров, проведенных на ее кухне, и до последних лет, когда за нею, больной, трогательно ухаживала Лилия Леонидовна, а та принимала меня, лежа в постели. Я снова слышу, как своим низким голосом она произносит названия греческих парадигм, о чем-то рассказывает, читает стихи или просто говорит — Послушайте, Миня, что Вам говорит Ваша старая Баба...